

АЛЕКСАНДР  
**СОЛЖЕНИЦЫН**

УГОДИЛО ЗЕРНЫШКО  
ПРОМЕЖ  
ДВУХ ЖЕРНОВОВ

АЛЕКСАНДР

# СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

## УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

ОЧЕРКИ ИЗГНАНИЯ



## ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

*Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям*

В издании сохранены орфография и пунктуация автора.  
Его взгляды изложены в работе «Некоторые грамматические соображения»  
(Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3).  
В настоящем Собрании сочинений статья будет напечатана в т. 24.

*редактор-составитель*  
Наталия Солженицына

*дизайн, макет*  
Валерий Калныньш

**Солженицын, А. И.**

Угодило зёрнышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания / Александр Исаевич Солженицын. — М. : Время, 2021. — (Собрание сочинений. Т. 29).

ISBN 978-5-9691-2278-9

Книга А. И. Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» (29-й том Собрания сочинений) — продолжение его первой мемуарной прозы «Бодался телёнок с дубом» (28-й том). В годы изгнания (1974—1994) писателю досталось противостоять как коммунистической системе, так и наихудшим составляющим западной цивилизации — извращённому пониманию свободы, демократии, прав и обязанностей человека, обусловленному отходом изрядной части общества от духовных ценностей. Но два «жернова» не перемололи «зёрнышко». Художник остался художником, а потому очерки изгнания оказались и очерками литературной жизни — как в горько-ироническом смысле, так и в смысле прямом и высоком: нам явлена история создания «Красного Колеса». Литература здесь неотделима от жизни, а тяжкие испытания — от радостного приятия мира. Потому в очерках подробно обрисована счастливая семейная жизнь, потому здесь с равной силой говорится «на чужой стороне и весна не красна» и — с восхищением! — «как же разнообразна Земля», потому так важны портреты — близких друзей и обаятельных людей, лишь однажды встреченных, но вызвавших незабываемую приязнь. Палитра книги редкостно многокрасочна, но буквально любой её эпизод просвечен главной страстью Солженицына — любовью к России, тревогой о её судьбе.

© А. И. Солженицын, наследники, 2021

© Н. Д. Солженицына, составление, комментарии, 2021

© «Время», 2021

*Жене моей Але —  
спасительному крылу  
моей взвихренной жизни*

Сторона ль ты моя сторонушка,  
Сторона ль моя незнакомая!  
Что не сам-то я на тебя зашёл,  
Что не добрый меня конь завёз, —  
Занесла меня кручинушка.

*(Русская песня)*<sup>1</sup>

# **Часть первая**

**(1974–1978)**

## ГЛАВА 1

# Без прикрепы

За несколько часов вихрем перенесенный из Лефортовской тюрьмы, вообще из Великой Советской Зоны — к сельскому домику Генриха Бёлля под Кёльном, в кольце плотной сотни корреспондентов, ждущих моих громовых заявлений, я им ответил неожиданно для самого себя: «Я достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу».

Странно? Всю жизнь мучился, что не дают нам говорить, — вот наконец вырвался — теперь-то и грянуть? теперь-то и пальнуть по нашим тиранам?

Странно. Но с первых же часов — от неохватимой здешней лёгкости? — как замкнулось во мне что-то.

Едва войдя к Бёллю, я просил заказать разговор в Москву. Вот тут я думал: не соединят. А соединили! И отвечает — сама Аля! На месте! И я мог своим голосом заверить её, что — жив, что — долетел, вот, у Бёлля.

А вы? А — вы? (Ну — не растерзали же детей. Но — что там творится в квартире?)

Аля — ясным голосом отвечает. Через бытовые подробности даёт мне понять, что все свои дома, что гебисты ушли, и — сказать нельзя, но умело намекает: квартира не тронута, вот, мол, дверь чинят. Так понять — что обыска не было?? Это меня поразило! Уж в обыске был уверен, и столько же тайного на столах — неужели не взяли?

Ещё до моего приезда звонила Бёллю «Бетта» (Лиза Маркштейн) из Вены, и адвокат Хееб из Цюриха, вылетают сюда. Они позвонили и Никите Струве в Париж, готов лететь сюда и он. Сразу весь мой Опорный Треугольник<sup>1, (1)</sup>, во жизнь! Но я почувствовал, что такой плотности мне не вместить, — и просил Струве лететь сутками позже прямо в Цюрих.

Напряжение, которое держало меня этот долгий день<sup>2</sup>, теперь оборвалось, добрёл до отведенной комнаты и рухнул. А среди ночи проснулся. Дом Бёлля, выходящий прямо на улочку посёлка, был как в осаде: мелькали света от автомобильных фар, подъездов, разворотов; у самого дома гудела корреспондентская толпа; при открытом, по европейскому теплу, окне слышна была немецкая речь, французская, английская. Они теснились и ждали утренней добычи новостей, какого-то же наконец моего заявления? Какого? — всё главное уже сказано из Москвы.

Ведь я и в Советском Союзе почти полную свободу слова завоевал себе. Несколько дней назад я публично назвал советское правительство и ГБ — рогатой нечистью в метаниях перед заутренней, сказал и о безкрайности беззакония, и о геноциде народов, — что ещё добавлять сейчас? Простые вещи и без того всем известны. (Отнюдь нет?) А сложные — не прессе передать. Как бы я хотел вообще больше не делать никаких заявлений! В Союзе я последние дни частил ими по нужде, обороняясь, — но здесь какая неволя? Да здесь и каждый неси что хочешь, тут не опасно.

Лежал в бессоннице, в сознании счастливого освобождения, но — и перепутанного разветвления мыслей: что и как теперь делать? да ещё сами вопросы не выдвинулись из темноты, так и не решить ничего.

В эту ночь прилетела Бетта, сердечно встретились. Она переломила моё настроение — вообще не выходить к корреспондентской толпе, до того не хотелось, ну никакого смысла я не видел выставляться как чучело. Убедила, что мы с Генрихом должны выйти, прогуляться по лужку, дать пофотографировать нас, без этого репортёры не могут уехать, прикованы. После завтрака вышли мы с Генрихом, посыпались от дверей вопросы в таком множестве — и пожелаешь, так не ответишь, и всё поразительная дребедень, вроде: что я чувствую в данную минуту? как спалось эту ночь? Не помню, каких-то несколько фраз я провякал. Потом мы с Генрихом



медленно прошлись метров сто и назад. Фотокорреспонденты пятились перед нами по неровной земле в безумной тесноте, один пожилой больно упал на спину — жалко его стало, да и всем не позавидуешь в этой работе.

Следующее решение Бетты было, что моей гебистской белой рубашки надолго не хватит. И на марки, сунутые мне от ГБ в самолёте, пошла она и купила в сельском магазинчике случайных две. Я сразу и не смекнул, но та, которую надел на следующий день в дорогу, была в вертикальных серо-белых полосах, как частокол, весьма похожая на форму советских зэков в лагерях спецрежима.

Вскоре за тем в доме Бёлля появился и неторопливый, предельно солидный мой благодетель доктор Хееб, плотный, крупнолицый, весьма осанистый. Пока с нами Бетта, мне не надо было упражнять свой немецкий язык, но и ни о чём серьёзном говорить не предстояло. Да толпа корреспондентов опять требовала и требовала меня на выход, фотографировать, спрашивать.

Примчавшиеся со всех концов Европы и через океан — какого *заявления* ждали они? Я не понимал. Им нужна была всего какая-нибудь мелочь для крупного заголовка: что я исключительно устал или, наоборот, совершенно бодр? что я чрезвычайно рад оказаться в Свободном Мире? или что мне очень понравились германские шоссейные дороги? Вот и всё, и дальняя поездка каждого из них оправдалась бы. Но, только что из рукопашной, не мог я, если б и понял, их так развлекать.

А молчанием моим — они оказались крайне разочарованы.

Так — с первого шага мы с западной медиа не сдружились. Не поняли друг друга.

Тут приехал из Бонна вчерашний знакомец, встречавший меня от германского МИДа, господин Дингенс. Сели в светлой гостиной за стол, но по торжественной европейской привычке у жены Генриха Аннемарии на столе горело и несколько красных свечей. Дингенс привёз мне временный краткосрочный немецкий паспорт, без которого нельзя было существовать, а тем более двигаться. И официально, от

правительства, предложил, что я могу избрать местом постоянного жительства Германию.

На минуту я заколебался. Такого намерения не было у меня. Но Германию — я любил. Наверно, оттого, что в детстве с удовольствием учил немецкий язык, и стихи немецкие наизусть, и целыми летними месяцами читал то сборник немецкого фольклора, «Нибелунгов», то Шиллера, заглядывал и в Гёте. В войну? — ни на минуту я не связывал Гитлера с традиционной Германией, а к немцам в жаркие боевые недели испытывал только азарт — поточней и быстрее засекать их батареи, азарт, но нисколько не ненависть, а при виде пленных немцев — только сочувствие. Так и жить теперь в Германии? Может быть, это и было бы правильно. А пока-то, пока-то вот сейчас — ну конечно в Цюрих, и главное, о чём два дня назад и подумать не мог: ведь недописанный «Октябрь Шестнадцатого»<sup>3</sup> так был скуден подробностями ленинской жизни в Цюрихе, ничего ведь позаочью не представишь, — а теперь сам, вот хоть завтра увижу?

С благодарностью, не наотрез, но пока отклонил.

Посидели сколько-то с Бёллями, не успели никакие мысли наладиться — снаружи известие: приехал и хочет меня видеть Дмитрий Панин с женой (со второй женой, с которой он эмигрировал, я её не знал). Я изумился: да ведь он же в Париже? с какой же лёгкостью так сорваться — и сразу перелететь? и не осведомить заранее? Да представляет ли он всё стеснение моего духа и времени сейчас?

Но это был Митя Панин, мой лагерный друг, «рыцарь Святого Грааля»<sup>4</sup>, надо было его знать!

Лет пять назад читал я рукопись его философской работы — как понять человечество и как его спасти. Допытывался у него: а — с чего же начать? Что именно делать *сейчас*? Но ему всегда была важна только законченность конструкции мировоззренческой — а практика? — это мелкое дело, это сделает кто угодно второстепенный. (Неотчётливое ощущение реальности и возможных движений в ней. Так, в 1961 он резко

осуждал, что я дал «Ивана Денисовича» в «Новый мир» и тем приоткрыл своё подполье: надо было продолжать таиться взакрыте.) Спасение нашего народа от коммунизма? — да очень простое: надо убедить Запад дать *общий слитный ультиматум*: откажитесь от коммунизма, или мы вас уничтожим! — вот и всё. И советские вожди, несомненно, капитулируют. (Я поднял его на смех.) Недоработка лишь в том, твёрдо видел он, что западные страны — в расстройстве, не действуют в одном строю, вот и де Голль безрассудно отъединился от НАТО<sup>5</sup>. Чтобы их сплотить — надо действовать через Папу Римского («Крестовый поход!»). Два года назад Митя и взял на себя, так и быть, практическую эту задачу: он сам убедит Папу Римского! Для этого вместе с новой женой выехал по её израильской визе. И — был-таки принят Папой. Увы, Папа не усвоил такого прямого и простого образа действий. Тогда Митя стал готовить почву сам, издал книгу «Записки Сологдина»<sup>6</sup> (его фамилия в «Круге первом») и ездил по Европе с презентациями её и с афишами, где с малого фото была увеличена наша с ним обнимка по плечам. Лекции были призывно-боевыми, всем безотлагательно подниматься и сплачиваться против коммунизма, — но неразумные европейцы откликались вяло.

Часть из этого я знал ещё в СССР по *левым* письмам и газетным вырезкам, остальное он досказал мне теперь. Мы присели с ним в первой комнате, а жена его Исса перешла в гостиную, к красным свечам и нашей остальной компании. Так вот с чем приехал Митя: немедленно объявить и продемонстрировать перед этим скопищем прессы наш с ним Блок и Союз против коммунизма, насмерть. Распределение обязанностей он излагал (а вскоре и написал мне) так: ты — стремительный фрегат с расцвеченными парусами, а я в нём — трюм идей, арсенал, вместе мы будем непобедимы! Боже, как это не вмещалось не только в мои первые часы прилёта, не только в мои усилия осваиваться в новом положении, но в простое же человеческое жизненное понимание: ну кто же так чего-нибудь добьётся? ну только на смех себя выставить. — Нет!

Митя этого не понимал. Безполезно прошли все мои доводы, он был больно ранен моим отказом и уехал в обиде, если не в гневе.

А тут новый вызов: приехал и просится ко мне Янис Сапиет из русской секции Би-би-си (известный всем слушателям как «Иван Иваныч») — ну как его не принять? И — теплейший, милейший оказался человек, и голос какой знакомый издавна. Уговорил он меня записать тут же интервью — да ведь для советских слушателей, и в самом деле надо. Записал (а что — не помню).

Мой паспорт на руках, можно бы и ехать, не утомляя больше Генриха. (Как бы не так! Весь мир узнал, что я у него, — и теперь почти месяц будут литься сюда телеграммы, письма, книги — и его секретарю труд зарегистрировать и всё пересылать в Цюрих.) И Бетта, и Хееб думали, конечно: лететь. Германию, значит, и глазком не посмотрим? А нет ли подходящего поезда? Нашёлся: завтра утром сядем в Кёльне и ещё засветло будем в Цюрихе. Великолепно.

Утром рано простились с гостеприимными Бёллями, поехали автомобилем. (А машин-то — всё ещё стояло несколько десятков в узких улицах посёлка, теперь все заворачивали ехать за нами.) Вкоротке достигли кёльнского вокзала, ничего в окно не рассмотрев, и наспех поднялись, чуть не лифтом, на нужный перрон, за две минуты до прихода нашего поезда.

Но эти две минуты! Прямо передо мной, ничем не загороженный, во всю свою стройность стоял — красавец, нет, слово не то, — чудо, Кёльнский собор! Даже не изощрённая отделка, а сколько глубины мысли и тяги к небесам в этих башнях, в этих шпилях. Я задохнулся и смотрел разинув рот. (А проворные корреспонденты, уже на перроне, фотографировали, «как я смотрю».) И тут же — подошёл и поглотил нас поезд.

День распогоживался, и смотреть в окно можно было без помех, с видами вдаль. Наш маршрут — у самого Рейна, по левому берегу его, через Кобленц и Майнц. Но Рейн казался грязным, опромышленным, уже и не поэтичным, даже около утёса Лорелеи (показали мне его). А до нынешней порчи,

наверно, было картинно. Да главной красоты, многовековой угнеженности старых улочек и домов, — из проходящего поезда и не рассмотришь.

Как бывало в Москве: едва только встретимся с Беттой, Аля или я, идёт огневой обмен конспиративными соображениями, — а сейчас беспрепятственно бы обсуждать что угодно, а мысли никак не соберутся. Отойдя от сотрясения, его ощущаешь даже больше.

Уже известно было по пути, каким поездом меня везут, — и на станциях к вагону толпились кучки любопытных. Просили автографы на немецкое издание «Архипелага», я давал, то с вагонной площадки, то через окно, меня фотографировали, и всё в этой полосатой каторжанской рубашке, много таких снимков напечатано в Германии.

Середина февраля, а днём стало уже и жарко. После полудня достигли Базеля, проверка и на немецком вокзале, и на швейцарском. Пограничники меня уже ждали, приветствуют, тоже просят автограф. Теперь покатали по уютнейшей тесной Швейцарии, долинами между гор.

Вокзал в Цюрихе, не говорю — наш перрон, но и все другие перроны, и асфальтный влив с площади, и дальше площадь — всё было густо забито народом. Никакая полиция не могла оберечь, давка оказалась смертная, без преувеличения. Сжало нас в тисках, очень выделялись на защиту два высоченных швейцарца, издатели из «Шерца» («Архипелаг» на немецком), выглядели они прямо-таки самоотверженными, с риском для себя освобождали перед нами хоть сантиметры. Казалось: можем и не выйти целыми? По-крохотному, помалу, помалу, наконец долились до ожидающего автомобиля, меня как пробку туда втолкнули, затем я долго там сидел, окружённый извне доброжелательными и прямо восторженными, вопреки их характеру, швейцарцами, — пока собирали остальную нашу компанию, расселись, тогда поехали медленно, под всеобщее помахивание — и ещё сколько-то так на улицах. Цюрих с первого же моста, первых домов и трамваев выглядел очаровательно.

Поехали на квартиру к Хеебу. Он жил где-то в окраинной части города, в этажных домах новой постройки. Тотчас за нами корреспонденты обложили весь дом. Требовали, чтоб я вышел и сделал заявление. Не могу. Тогда — просто попозировать. Да уж *позировать* — и вовсе сверх сил, не вышел. (А в прессе накоплялась обида.)

Вскоре предупредили меня, что на квартиру Хееба приехал приветствовать меня штаттпрезидент Цюриха (то есть глава города) доктор Зигмунд Видмер. В гостиную вошёл он, высокий, интеллигентный, с мягким, но торжественно напряжённым лицом, я поднялся ему навстречу — а он, с большим усилием и ошибками, произнёс приветственную фразу — по-русски! Тут я ответил ему двумя-тремя фразами немецкими (оживлялись клетки старой мозговой памяти и связывались цепочками) — он просиял. Сели, дальше говорили через Бетту. Напряжённость ушла, он оказался действительно очень мягким и милым. Выражал самые радушные чувства, предлагал всяческую помощь в устройстве. Арендовать квартиру? А в самом деле: пробыть у Хееба день-два, а дальше? Что-то надо решать.

Но решать — я ничего не находил. Да катились на меня требования, вызовы, советы. Через какой-нибудь час уже звонил из Америки сенатор Хелмс, в трубку переводчик приглашал меня немедленно ехать из Цюриха в Соединённые Штаты, там меня бурно ждут. Ещё вскоре из Штатов же — Томас Уитни, переводивший «Архипелаг» на английский, знакомый мне пока лишь по имени. — Ещё звонок, низкий женский голос, по-русски, с малым акцентом: Валентина Голуб, мать её из Владивостока увёз отступающий чех в 1920; а Валентина с мужем-чехом бежали из Праги от советской оккупации — и теперь здесь, в Цюрихе. «Нас тут, чехов-эмигрантов, шесть тысяч, мы все вам поклоняемся, готовы для вас на всё, рассчитывайте на нас!» И предлагают любую бытовую помощь, и русский же язык. Я — тепло благодарен, да мы перед чехами за август 1968 кругом виноваты, и это — уже настоящие мне союзники. Уговариваюсь о встрече.

А вот ещё какая телеграмма из Мюнхена: «Все радиопередатчики радиостанции “Свобода” к вашим услугам, открыты для вас. Директор Ф. Рональдс». Во как! Говори на весь СССР сколько хочешь. Да наверно, и надо же! Да разве дадут хоть минуту сообразить?

Кажется, не в этот вечер, а в следующий, но уж доскажу тут. С низу лестницы, где стоит полицейский пост (а то бы все хлынули сюда, в квартиру), докладывают: рвётся ко мне, просит принять писатель Анатолий Кузнецов. Ах, тот самый Кузнецов, «Бабий Яр»<sup>7</sup>, поразивший в 1969 своим уходом на Запад (под предлогом изучать ленинское бытё в Лондоне — ну, вот как я сейчас буду в Цюрихе?), но и тем же, что теперь стыдится фамилии Кузнецов (ибо по требованию советских властей он судился против своего западного самовольного издателя) и потому отныне все свои будущие романы будет подписывать «Анатолий» (а будущих, за пять лет, и не оказалось). Пропустили его. А времени, поговорить, — нету, накоротке, на ходу. Маленького роста, подвижный, очень искренний, и с отчаянием в голосе. Отчаянием, конечно, — как неудачно у него всё сложилось, но и с отчаянной опаской за меня, чтоб я не наделал ошибок, как он: мол, кессонная болезнь, переход из сильного давления в малое опасен тем, что разорвёт! надо — сперва не делать заявлений, надо оглядеться. (И прав же он!) Ах бедняга, и для этого летел из Лондона, вот на эти десять минут, предупредить меня, что я и сам знаю? Я прекрасно понимаю, как надо остерегаться, — не только не рвусь к прессе, я не знаю, в какой рукав голову спрятать от её беспощадной осады.

Так я и не вышел к репортёрам. Уже темно, спать бы? Жена Хееба даёт мне снотворное, всё равно не спится. Дохнуть бы воздуха. В полной темноте выхожу на балкон, подышать в тишине. Задняя сторона дома, 4-й этаж, — и вдруг зажигается сильный прожектор, на меня, уловили! сфотографировали! ещё который раз. Не даютдохнуть. Ухожу с балкона. Ещё какие-то таблетки.

В суматоху цюрихской вокзальной встречи угодил и Никита Струве — третья вершина Опорного Треугольника. А Цюрих, оказывается, подходящее место: тут и адвокат, сюда из Вены легко приехать Бетте — из Парижа, вот Никите. Отсюда легче распутывать наши дела, запутанные конспирацией. А ведь ждутся ещё и арьергардные бои за «невидимок», кого ГБ прижмёт.

Был отдалённый друг за Железным Занавесом — а вот проступает и вживе. Невысокого роста, в очках, не поражая наружностью, ни тем более одеждой, лишь бы удовлетворительна, это и на мой вкус. А — быстрый, пронизательный взгляд, но не для того, чтобы произвести впечатление на собеседника, а себе самому в заметку и в соображение. С Никитой Алексеевичем оказалось всё так просто и взаимопонятно, как если б его не отделяла целая жизнь за границей: духом — он всё время жил в России, и особенно в её литературных, философских и богословских проявлениях на чужбине. В 1963 он книгой «Христиане в СССР» вовремя оповестил Запад о хрущёвских гонениях на Церковь. Вместе с тем — широкий эрудит и в западной культуре. (Кончил Сорбонну, пробовал древние языки, арабский и их философию; остановился на русском языке, литературе.) Очень деликатен (не мешает ли это ему в издательской деятельности, там надо уметь быть суровым); как бы опасался проявить настойчивость, а всё высказывал в виде предположений (к этой его манере ещё надо привыкнуть, не пропускать его беглых замечаний). Ещё больше опасался впасть в пафос и при малом к тому повороте высмеивал сам себя.

И вот досталось ему после провала «Архипелага» тайком-тайком готовить взрыв первого тома, главный удар в моём бою с ГБ<sup>8</sup>. Пришлась публикация даже раньше, чем я надеялся, — ещё прежде русского Рождества и даже до Нового, 1974, года; и, несмотря на каникулярную на Западе пору, — какой ураган звонков, запросов и требований обрушился на издательство ИМКА тут же.



Дел у нас с ним предстояло множество. Прежде всего — второй том «Архипелага», хотя и перестал он быть таким огненно-срочным, как нам виделось в Москве, уж я теперь не так торопил. А пора начинать и французский перевод «Телёнка» (плёнки ещё раньше прибыли тайным каналом). А ещё пора... Да все возможные публикации хотел бы я гнать скорей, скорей.

Дальше не помню, какая-то карусель дня два-три. Ездили с супругами Видмерами (фрау Элизабет оказалась сердечнейшая), с Беттой и со Струве в горы, посмотреть дом Видмеров, предлагаемый мне для уединённой работы. (Только тем оторвались от потока репортёрских машин, что штаттпрезидент своей властью устроил сразу позади нас трёхминутный запрет проезда.) Домик этот, в Штерненберге, на предгорном хребтике, очень мне понравился: вот уж поработаю!

Зачем-то нужна была мне большая лупа, наверно, наши вывезенные плёнки рассматривать. Заходим с Беттой в магазинчик, выбираю удобную лупу — продавец со страстью отказывается брать с меня деньги; препираемся, но так и пришлось взять подарком (и очень к ней потом привык). Посещаем внушительную адвокатскую контору Хееба на главной улице Цюриха Банхофштрассе, тут в штате и жена, и сын его Герберт, симпатичный умный молодой человек, и ещё какая-то девица, и множество каких-то папок, папок, не до этого мне теперь. Да мне и очки срочно нужны, по соседству заказываю очки.

Потом мы всей компанией должны где-то пообедать, и тут я их всех (кроме Бетты) поражаю, что в ресторан не хочу: истомляет меня эта чинная обстановка, размеренно-медленный (потеря времени!) культ поедания, смакования, за всю советскую жизнь, 55 лет, кажется, раза два только и был я в ресторане, по неотклонимости (да ведь и жил на обочинах жизни и постоянно без денег). Сейчас, да при всеобщем внимании, появиться в ресторане — мне со стыда стореть. Хееб явно шокирован, но я прошу ехать в какую-нибудь простую

столовую, да чтобы побыстрее. Хееб с Беттой советуются, не без труда находят, вне центра города, столовую при каком-то производстве. Рабочие и служащие густо сидят, видят меня, узнают, приветствуют, корреспондентов в этом месте почему-то не помню. Но по улицам они нас сопровождают и безцеремонно подсовывают к моему рту длинные свои микрофонные палки: записать, о чём я разговариваю со спутниками! Не только ни о чём секретном, но вообще ни о чём нельзя сказать, чтоб не разнесли тут же в эфир. Это вынести невозможно. Меня взрывает: «Да вы хуже гебистов!» Отношения мои с прессой всё портятся и портятся.

Но главное же! — ленинский дом посмотреть, Шпигельгассе. Какое скрещение, какая удача! почти не выбирая, попал я на жилу «Октября Шестнадцатого», на продолжение начатых ленинских глав! В первую же прогулку и идём с Беттой. (А зря: получилась необдуманная демонстрация, в газетах вывернули: пришёл поклониться дому Ленина!) Предвкушаю, сколько теперь смогу в Цюрихе собрать ленинских материалов.

Как раз в эту прогулку настиг меня на улице Фрэнк Крепо из Ассошиэйтед Пресс, тот милый благородный Крепо, который так помог мне в разгар встречного боя, утвердиться тогда на ногах, — и как же теперь отказать ему в интервью в благодарность? Дал небольшое [1]<sup>(2)</sup>. (Небольшое-то небольшое, но что во мне горело — судьба архива, без которого я не мог двигаться, а какая у Али с ним уже удача — я не знал, и наивно придумал пригрозить Советам: не отпустят архив исторический — буду лепить им о современности.) Однако другие корреспонденты, бредущие за нами толпой, видели, как Крепо подошёл ко мне на улице, я обрадовался — и через несколько часов у него уже интервью. Кто-то, из зависти или оправдать свою неудачу, дал сообщение, что Крепо привёз мне из Москвы тайное письмо от жены (а ничего подобного). На следующий день читаем это во всех газетах. А для Крепо это — *закладка*, ему сейчас откажут в советской визе, корреспонденту запрещено такое! Он подавлен. Значит, что же делать? Значит,

новое заявление прессе, к их толпе перед домом Хееба вышел и выражаю возмущение такой дезинформацией. А пусть-ка тот корреспондент да само агентство или газета извинятся.

Наивен же я был, что раскается корреспондент, агентство или газета! — хваткой, углядкой, догадкой они и соперничают, на том и стоят сколько стоят. Так, уже случай за случаем, эти первые дни на Западе, дни открытого сокосновения с кипящей западной медиа, — вызвали у меня неприятное изумление и отталкивание. Во мне поднялось густое неразборное чувство сопротивления этим дешёвым приёмам: грянула книга о гибели миллионов — а они какую мелкую травку выщипывают. Конечно, это было неблагодарно с моей стороны: вот такая западная медиа, как она есть, — она и построила мне мировой пьедестал и вызволила из гонений? Впрочем, не только она: бой-то вёл я сам. И хорошо знали гебисты, что если посадят меня, то тем более всё моё будет напечатано и им же хуже. Пресса же спасала меня и по инерции сенсации. И по той же инерции вот всё требовали и требовали заявлений и не понимали моего упорства.

Думали: молчу, пока семью не выпустили? Но уже уверен я был, что не посмеют не выпустить. Или — архивов не пропустят? Так и ясно было, что ни бумажки не пропустят, а всё зависит от находчивости Али и помощи наших доброжелательных иностранцев. Нет, не это. Сработал во мне защитный писательский инстинкт: раньше моего разума он осознал опасность выговориться тут в балаболку. Меня примчало на Запад на гребне такой размашистой волны, теперь тут можно изговориться, исповторяться, отбиться от дара писания. Конечно, политическая страсть мне врождена. И всё-таки она у меня — за литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено столько общественно активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам за политическое ораторство, — я отныне и остался бы в пределах литературы.

А тут ещё столкнулся с западной медиа в её яростном расхвате: подслушивают, подсматривают, фотографируют

каждый шаг. Да неужели же я, не угождавши Дракону на Востоке, — буду теперь угождать и притворяться перед этими на Западе? Окучиваете меня славой? — да не нужна она мне! Не держался я ни одной недели за хрущёвскую «орбиту» — ни одной и за вашу не держусь. Слишком отвратными воспринимал я все эти ухватки. «Вы хуже гебистов!» — эти слова тотчас разнеслись по всему миру. Так с первых же дней я много сделал, чтоб испортить отношения с прессой. Сразу была заложена — и на многие годы вперёд — наша ссора.

А вторая — безоткладная атака, не дающая подумать и очнуться, — была от почты. Ещё я нигде не жил, ещё не решил, где жить, квартировал дней несколько у Хееба — уже привозил он ящиками телеграммы, письма со всего мира, тяжёлые книги (а к Бёллю катились само собой), — да на всех мировых языках, и безнадёжно было их хоть пересмотреть, перебрать пальцами, не то чтобы читать и отвечать. Да эти ящики — первые настойчиво требовали: куда ж их складывать? где я живу? Надо было скорей определить, где я живу.

У меня издавна была большая симпатия к Норвегии: северная снежная страна, много ночи, печей, много дерева в быту и посуда щепенная, и (по Ибсену, по Григу) какое-то сходство быта и народного характера с русским. А ещё же недавно, в разгаре советской травли, они меня защищали и приглашали, где-то уже «стоял письменный стол» для меня, — у нас с Алей было предположено, что если высылка — то едем в Норвегию. (И Стига Фредриксона я тогда приглашал быть моим секретарём в предвидении именно скандинавской жизни.) Конечно — не в Осло, но в какую-нибудь глушь, рисовалось так: высокий обрывистый берег фиорда, на обрыве стоит дом — и оттуда вдаль вид вечно бегущего стального океана.

Так надо немедленно ехать смотреть Норвегию!

Моя поездка тотчас по высылке привлекла внимание и удивление. (Аля в Москве услышала по радио — не удивилась: поехал искать место.) На железнодорожных станциях Германии и Швеции узнавали меня через окно с перрона, на иных

станциях успевали встретить делегации. По Копенгагену водили целый день радушно: уже на вокзале — пить пиво в полицейском участке, и малый их духовой оркестрик играл мне встречный марш; потом — по улицам, с председателем Союза датских писателей, осматривать достопримечательности, и всход на знаменитую Круглую башню. (Тут я увидел и церемонийный развод стражи в медвежьих шапках у королевского замка, о котором раньше только слышал в Бутырках рассказ Тимофеева-Ресовского.) Наконец — и в парламент, пустой зал, заседания не было. Дальше потащили меня в Союз писателей, на вручение какой-то здешней премии. Говорили все по-датски, не переводя, я сидел-отдыхал-кивал, а после церемонии какой-то из писателей подошёл ко мне вплотную и, наедине, впечатал выразительно на чистом русском: «Мы вас ненавидим! Таких, как вы, — душить надо», — Красный интернационал так сразу же мне о себе напомнил.

Вечером того дня мы с Пером Хегге, старым знакомцем по Москве, тогда всё ещё корреспондентом «Афтенпостен», поплыли на пароме (большом пароходе, со многими сотнями пассажиров, с буфетами, развлечениями и аттракционами для них) в Осло. Мне и побродить было невыносимо сквозь это шумное многолюдье, в каюте я лёг и пролежал ночь пластом. А утром, войдя уже в залив, на подходе к Осло, позвали меня в капитанскую рубку — посмотреть их технику слежения-вождения и полюбоваться видом. Уже в тёплой куртке, купленной с Беттой в Цюрихе, вышел я и на высокий нос, холодный был ветер, но прозрачно солнечный воздух, — и увидел внизу у пристани кучки людей с плакатами «God bless you», не сразу и догадался, что это — ко мне относится. Долго мы причаливали, сходила толпа — эти доброжелатели дожидались меня и светло встретили.

Шли по длиннейшей главной улице, Хегге сказал: «Знаете, кто это вот сейчас на тротуаре с вами поздоровался? Министр иностранных дел». Да, не в лимузине ехал в министерство, не в «чёрной волге», а пешком. (Вспомнил я опять же бутырский рассказ Тимофеева-Ресовского, что и норвежский король ходит

пешком по Осло и без охраны.) Теперь и тут — в парламент, и тоже не день заседаний, но встретил меня парламентский президиум. Тут я объяснил в первый раз цель своего приезда, и председатель парламента, указав на свод законов, обещал их полную защиту, пока стоит Норвегия.

Но главный поиск мой был — фиорд, какой-нибудь фиорд для первого присмотра, и мы с Пером Хегге и норвежским художником Виктором Спарре, очень самобытным, поехали мимо главного норвежского озера Мьёсиншё с голубой водой, валунными берегами, а выше — чёрно-лесистыми горками; и дальше долинами реки Леген и Гудбрандской, углубляясь в норвежские горы, суровые, с причернью обнажённых отвесных скал, до фиолетовости тёмной синевой оснований и замёрзшими на высоте сине-зелёными водопадами. В доме художника Вейдеманна принимали нас с норвежско-русской радушностью, и открывалось нам «ты», так же естественное в норвежском языке, как в русском, и норвежский горец дарил мне свой кинжал в знак братства. И все зданья — дома и церкви, были рублены из брёвен, как у нас, а крыты иные — берестю, и только двери окованы фигурным железом. На заборах торчали снопики овса и проса для малых птиц, чтоб они не погибли зимою. Ехали мимо деревянных церквей — зданий ещё IX века, с языческими украшениями на крышах (крестил население тут — король Олаф Второй, топором, в начале XI века), перед входом в ограду — столб с железным замыкаемым ошейником для выставляемых грешников (не в одной проклинаемой России подобные меры применялись!); и оружейные хижины перед церковью, где вооружённые прихожане оставляли оружие. Суровость, зимность и прямота этой страны прилегали к самому сердцу. Верно я предчувствовал: такое где ещё сегодня найдёшь на изнеженном Западе? В этой обстановке — я мог бы жить.

(И по норвежскому телевидению, первому, по которому мне нельзя было не выступить, я сказал, нахожу теперь черновую запись: «Норвежцы сохранили долю спасительного душевного идеализма, которого всё меньше в современном мире, но который только один и даёт человечеству надежду

на будущее». Может быть, целиком по Норвегии это и не так, но в ту поездку и в те встречи я так ощутил.)

И правда же: что значил и для Норвегии, и для всей нашей одряхлевшей цивилизации плот «Кон-Тики»!<sup>9</sup> Весь нынешний благополучный мир всё дальше уходит от естественного человеческого бытия, сильнее интеллектуально, но дряхлеет и телом и душой. Так, для решения проблемы, откуда мигрировали жители тихоокеанских островов, только и можно сидеть в удобстве с бумагами и обсуждать теории. А у Тура Хейердала хватило мужества утерянных нами размеров — отправиться доказать путь на примитивном плавучем средстве. И — доказал! И вот покоится «Кон-Тики» в особом музейном здании национальной гордостью Норвегии — и я с почтением рассматриваю его. В гараже музея он кажется большим — но какая же щепка в океане.

Так норвежцы мне по духу — наиболее близкие в Европе?

Тут же меня везут и посмотреть какое-то продаваемое под Осло имение — помнится, 170 гектаров, по ним рассыпана избыточная дюжина живописных, под старину, и с древними очагами, домов — для кого это настроено? а в доме владелицы с вычурной обстановкой угощают шипучими напитками, покупайте имение за безделицу в 10 миллионов крон. Я, конечно, и близко не соблазнился, а может, и жаль: тогда бы на 8 месяцев раньше узнал бы от Хееба о моих вовсе не просторных денежных возможностях.

В Осло же наткнулись мы, что в одном кинотеатре как раз идёт фильм об Иване Денисовиче. Конечно, пошли. Фильм англо-норвежский, Ивана Денисовича играет Том Кортни<sup>10</sup>. И он, и постановщики приложили честно все старания, чтобы фильм был как можно верней подлиннику. Но что удаётся им передать — это только холод, холод и — условную — обречённость. А в остальном — и в быте, и в самом воздухе зэческой жизни — такая несхватченность, такая необоримая отдалённость, подменность. Журналисты спрашивали меня после сеанса, я — что ж? — похвалил. Участники фильма — не

халтурили, старались от сердца. Но самому так стало ясно, что никем как нашими — с советским опытом — актёрами этого не поставить. Зинула мне эта непереходимая, после советских десятилетий, пропасть в жизненном опыте, мировосприятии. (Ещё не видел я тогда позорного фильма Форда «В круге первом»<sup>11</sup>, равнодушно-рвачески запущенного в мир.) И — разве мне дождаться при жизни истинной постановки?

Гнались за мной корреспонденты уже и по Норвегии, так что когда мы ночевали в доме Вейдеманна (сам он был в отъезде), то под горой полицейский пост перегородил дорогу преследователям. И еле пропустил ко мне внезапно приехавшего из Москвы — Стига Фредриксона! Родной, рад я ему был как! Он — смущён: дала ему Аля записку ко мне, он спрятал в транзисторный приёмник, но гебисты догадались проверить и отобрали, и содержания утерянного он не знал. А главное: могли его теперь попереть из Москвы, лишить аккредитации. (К счастью, обошлось.)

Но — что у нас в доме там?? Тут я узнал: пока обыска не было, ничто не взято. Наружное наблюдение — круговое, прежнее, но через Стига и других дружественных корреспондентов (вот тебе и пресса! это — другая пресса) Аля разослала важную часть моего архива по надёжным местам. Нет и теперь уверенности, что с обыском ещё не придут. Но все близкие держатся хорошо, в квартиру к нам безбоязно приходят, Аля ведёт себя твёрдо, молодцом, главнокомандующим.

Теперь назад со Стигом все сведения и впечатления для Али я уж, конечно, не писал, передал устно.

А к фиорду мы с Хегге подъехали в Андальснесе, и оказался он — отлогоберегий извилистый морской залив, а горы — отступя. Не виделся тот обрыв, на котором у самого океана ставить бы дом изгнанника. Был я на Западе уже больше недели, внутри меня менялось восприятие и понимание, но что-то требовалось, чтобы дозреть. Вот эта морская вьёмистость низменного берега вдруг дояснила мне то, что зрело. Находясь



в брюхе советского Дракона, мы много испытываем стеснений, но одного не ощущаем: внешней остроты его зубов. А вот норвежское побережье, изнутри Союза казавшееся мне какой-то скальной неприступностью, вдруг дало себя тут понять как уязвимая и желанная атлантическая береговая полоса Скандинавии, вдоль неё недаром всё шныряют советские подводные лодки, — полоса, которую, если война, Советы будут атаковать в первые же часы, чтобы нависнуть над Англией. Почти нельзя было выбрать для жительства более жаркого места, чем этот холодный скальный край.

Дело в том, что я никогда не разделял всеобщего заблуждения, страха перед атомной войной. Как во времена Второй Мировой все с трепетом ждали химической войны, а она не разразилась, так я уже двадцать лет уверен, что Третья Мировая — не будет атомной. При ещё не готовой надёжной защите от летящих ракет (у Советов она куда дальше продвинута пока) лидеры благополучной, наслаждённой своим благополучием Америки, проигрывающие войну во Вьетнаме своему обществу, никогда не решатся на самоубийство страны — на первый атомный удар, хотя б Советы напали на Европу. А для Советского Союза первый атомный удар и тем более не нужен: они и так заливают красным карту мира, отхватывают в год по две страны, — им повалить сухопутьем, танками по североевропейской равнине да вот прихватить десантами и норвежское побережье, как не упустил Гитлер. (Оттого-то СССР охотно взял обязательство не нанести атомного удара *первым*, он и не нанесёт.)

Так, ступая на берег первого фиорда, я понял, что в Норвегии мне не жить. Дракон не выбрасывает из пасти дважды.

А ещё за норвежские дни я задумался: на каком же языке будут учиться наши дети? Кто понимает норвежский в мире? А печатаешь что-нибудь в скандинавской прессе — в мире едва-едва замечают или вовсе нет.

Возвращался в Швейцарию — опять поездами, через Южную Швецию, паромом (теперь другим, для перевозки поездов), Данию, Германию, чтобы больше повидать Европу из окна.

(Парому знаменательно пересек путь советский корабль, и, при близком виде советского флага, так странно было ощутить свою отдельность от СССР. С того же парома, в предвечерних сумерках, силился я разглядеть поподробней гамлетовский Эльсинор.) Ехал — и перебирал, перебирал мысленно страны. Ещё как будто много оставалось их не под коммунизмом, а как будто и не найдёшь, где же приткнуться: та — слишком южная, та — беспорядочная, та — по духу чужа. Ещё одна, кажется, оставалась в мире страна, мне подходящая, — Канада, говорят — сходная с Россией. Но текли недели, ждалась семья, откладывать с выбором было некогда.

Да Цюрих — подарок какой для ленинских глав. Да и нет уже времени ездить выбирать, — ладно, пусть пока Швейцария.

И остался я в крупном городе — как не любил, не предполагал жить. Хотя правильно выбрать главное место жительства сразу и окончательно — в те первые западные месяцы никак было не до выбора его. Слишком много наваливалось, тяготело или ждалось.

А Зигмунд Видмер времени не терял. Тотчас по моему возврату предложил арендовать в университетской части города, в «профессорском» квартале, половину дома. Поехал я, посмотрел. Скученные друг ко другу соседние дома, да в Цюрихе везде же так, а есть маленький, на две сотки, зеленотравный дворик, и место сравнительно тихое, по изгибу улицы Штапферштрассе, и движение небольшое (прицепилось спереди это «ш», а «Тапферштрассе» была бы — «Храбрая улица» или «Неустрашимая»). Предлагаемые мне полдома, по вертикали, — подвал хозяйственный, но и с просторной низкой комнатой, можно детям зимой играть; на первом этаже гостиная и столовая с кухней, на втором — три спальни (разместимся всемером?), и ещё мансарда скошенно-потолочная, из двух комнатёнок, — вот тут и писать можно. Ещё и чердачок поверх крутой лесенки.

Не успел я поблагодарить и согласиться — на следующий же день городская управа привезла в аренду кой-какую мебель (можно потом вернуть, а понравится — купить). Но и ещё

не успела эта первая мебель стать неуверенными ножками в разных комнатах, как лучшую и просторнейшую из них, прямо по ковровому полу, стали заваливать ворохи привозимых из конторы Хееба телеграмм, писем, пакетов, брошюр, книг: те хотели меня поздравить с приездом, те — пригласить в гости, другие — убедить что-то немедленно читать, третьи — что-то немедленно делать, заявлять или с ними встречаться. Знал я уже по взрыву после «Ивана Денисовича», как в таком всплеске перемешиваются и порывистая сердечность, и звонкая пустота, и цепкий расчёт. (А враждебные письма — поразительно: и здесь были анонимные, ну казалось бы — чего им бояться?) Знал, что нет безнадежнее и пустее направления деятельности, как сейчас бы заняться разборкой и классификацией этого растущего холма: на многие месяцы он охотно обещал съесть все мои усилия, а начни отвечать — только удвоится, а не стань отвечать никому — перейдёт в сердитость.

Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют.

Я предпочитал второй путь. (Ещё ж были письма на скольких языках — на всех главных и вплоть до латышского, венгерского; представляли люди, что у меня сразу же по приезде и контора работает?)

Тут взялась мне помогать энергичная фрау Голуб. На сортировку писем дала двух студентов-чехов, они приходили после занятий. Что-то с посудой мне придумала; раз принесла готовую куриную лапшу, другой раз — суп с отварной говядиной (такую точно ел в последний раз году в 1928, в конце НЭПа, никогда с тех пор и глазами не видел). Показала близкие магазины, где что покупать без потери времени. Очень выручила. Стал я и хозяйничать.

Дом запирался, а калитка сорвана, пока нараспашку. Ну, не сразу же узнают, где я, ничего? Как бы не так: в первые же сутки какой-то корреспондент выследил моё новое место, тихо отснял его с разных сторон — и фотографии в газету, с оповещением: Солженицын поселился на Штапферштрассе, 45. Ах, будь ты неладен, теперь кто хочешь вали ко мне в гости. И

действительно, в распахнутую калитку стали идти, и шли, цюрихские или приезжие, кто только надумал меня посетить. (Приходили и типы весьма сомнительные, мутные, по их поведению и речам.)

Пока я ездил в Норвегию — а события своим чередом. В американском Сенате сенатор Хелмс выступил с предложением дать мне почётное гражданство США, как в своё время дали Лафайету и Черчиллю, только им двоим [2]. Теперь со специальным нарочным он прислал мне письмо с приглашением ехать в Штаты [3]. Ещё в моём доме не было путём мебели, не включена потолочная проводка после ремонта, на полах груды неразобранных писем и бандеролей, никакой утвари, — и на единственной крохотной пишущей русской машинке, какая в Цюрихе нашлась, я выстукивал ему ответ [4] — политически совсем не расчётливый, но в моём уверенном сопротивлении: не дать себя на Западе замотать. Политическому деятелю мой в этом письме отказный аргумент кажется неправдоподобным, измышленной отговоркой: в моём сенсационно выигрышном положении — не рваться в гущу публичных приветствий, а «с усердием и вниманием сосредоточиться»? Но я именно так и ощущаю: если я сейчас замотаюсь и перестану писать — то приобретенная свобода потеряет для меня смысл.

Из лавины писем выловили, дали мне приглашение и от Джорджа Мيني, от американских профсоюзов [5]. Потребительница всего нового и сенсационного, Америка ждала немедленно видеть меня у себя, и такая поездка в те недели была бы сплошной триумфальный пролёт и, конечно, почётное гражданство, — но я должен бы ехать тотчас, пока в зените, нарасхват, этот миг был неповторимый, общественная Америка — страна момента (как отчасти весь общественный Запад). (И Советы так и ждали, что я поеду, и в оборону мобилизовали десяток писателей и всё АПН, гнали целую книжку против меня на английском, «В круге последнем»<sup>12</sup>,

полтора страница, и в мае советское посольство её рассылало, раздавало по Вашингтону<sup>(3)</sup>.)

Но я по духу — оседлый человек, не кочевник. Вот приехал, на новом месте столько забот — и что ж? всё кинуть и опять ехать? А в Америке — что? новые бурные встречи, и уже не отмолчишься перед ТВ и газетами, аудиториями, — и молоть всё одно и то же? в балаболку превращаться?

Вели меня совсем другие заботы.

Первая — спасётся ли мой архив? Эти, уже почти за 40 лет, с моего студенческого времени, мысли, соображения, выписки, подхваченные из чьих-то рассказов эпизоды революции, на отдельных листиках буквочками в маковые зёрна (легче прятать)?; а последние годы и концентрированный «Дневник романа», мой собеседник в ежедневной работе? и сама рукопись ещё не оконченного «Октября», тем более — не спасённого публикацией, как уже спасён «Август»? и ещё, вразброс по Узлам<sup>13</sup>, написанные отдельные главы?

Вторая, очень тревожная, мысль: а вообще — сумею ли я на Западе писать? Известно мнение, что вне родины многие теряют способность писать. Не случится ли это со мной? (Некоторые западные голоса так уже и предсказывали, что меня ждёт на Западе духовная смерть.)

И ещё: сохранится ли благополучен арьергард — оставшиеся в СССР наши друзья и «невидимки»? Если б сейчас поехать в Америку — осиротить наши тылы в СССР: уже нет постоянного адреса, телефона, «левой» почты, да сюда в Цюрих может кто и связной приедет, с известием, вот Стиг. (Он и приезжал вскоре.)

В Союзе я держался до последнего момента так, как требовала борьба. На Западе я не ослабел — но не мог заставить себя подчиняться политическому разуму. Если я оказался действительно в свободном мире, то я и хотел быть свободным: ото всех домоганий прессы, и ото всех пригласителей, и ото всех общественных шагов. Все мои отказы были — литературная самозащита, та же самая — интуитивная, неосмысленная,

прагматически рассматривая — конечно ошибочная, та самая, которая после «Ивана Денисовича» не пустила меня поехать в президиум Союза писателей получать московскую квартиру. Самозащита: только б не дать себя закружить, а продолжать бы в тишине работать, не дать загаснуть огню писания. Не дать себя раздёргать, но остаться собою. А международная моя слава казалась мне немереной — но теперь не очень-то и нужной.

И я выстукивал очередной отказ [\[6\]](#).

В одурашенном состоянии я лунатично бродил по пустому полудому и пытался сообразить, что мне первой и неотложней всего делать. Да не важней ли было ещё один долг выполнить? — перед моей высылкой мы с Шафаревичем надумали выступить с совместным заявлением в защиту генерала Григоренко<sup>14</sup>. Но так и не успели. А составить был должен я, и появиться теперь оно должно в Москве, раз две подписи. В неустроенной комнате я и писал это первое своё на Западе произведение<sup>15</sup>. По «левой» почте послал его в Москву Шафаревичу. Там оно и появилось.

На каждом шагу возникали и хозяйственные задачи, но не мог же я и совсем отказаться от разборки почты, просто ходить по этим пластам.

А — чего только не писали! Какой-то старый эмигрант Криворотов прислал мне «Открытое письмо», большую статью (она была потом напечатана<sup>16</sup>), обличая, что все мои писания — ложь, я только обманываю русский народ, ибо не открываю, что все беды в России от евреев, и ничего этого не показал в «Августе», ни в первом, вышедшем, томе «Архипелага». Пока не поздно — чтоб я исправился, иначе буду беспощадно разоблачён. (Позже были возмущения в эмигрантской прессе, как я «посмел не ответить» Криворотову.) И в других письмах были нарёки, что я — любимец мирового сионизма и продался ему. А ещё живой Борис Солоневич (брат Ивана) рассылал по эмигрантам памфлет против меня, что я — явный агент КГБ и нарочно выпущен за границу для разложения эмиграции.